

ГЕОРГИЙ АДАМОВИЧЪ  
КОММЕНТАРИИ

Послѣ всѣхъ бесѣдъ, споровъ, остротъ, бездомничества, гаданій, обѣщаній, послѣ евразійцевъ, послѣ русскаго шпенглеріанства, вспыхнувшаго и погасшаго въ берлинскихъ и парижскихъ кофейняхъ, послѣ всѣхъ нашихъ крушеній, когда, какъ ни разу еще въ памяти націи, оставался человекъ одинъ, наединѣ съ собой, внѣ общества, и лишь съ насмѣшливо-ядовитымъ сознаніемъ, что вотъ и внѣ общества можетъ еще существовать человекъ, любить, думать, жить, — все-таки и послѣ всего этого не поздно и не лишнее повторить, что главный для насъ вопросъ «современности», надъ личными темами, есть общерусскій вопросъ о востокѣ и западѣ, о томъ, съ кѣмъ намъ по пути и съ кѣмъ придется разлучиться: Россія — страна промежуточная. И, конечно, этотъ вопросъ, будучи главнымъ вообще и вездѣ, остается главнымъ и въ литературѣ. Отвѣта еще нѣтъ, но все, что мы теперь предпринимаемъ, во всѣхъ областяхъ, — есть подготовка матеріаловъ для отвѣта, «дѣло», досе, гдѣ время наведетъ порядокъ.

Французская литература блистательна. Какой умъ въ ней, какая точность въ діагнозѣ эпохи, какая «взрослость»! Одно расхолаживаетъ: она слишкомъ благополучна. Это вовсе не нигилистическій, не эстетико-безответственный упрекъ, а то, что о ней думаешь послѣ всѣхъ отдѣльныхъ оцѣнокъ. И на русскій вкусъ, она, за рѣдчайшими исключеніями, никогда не переставала быть слишкомъ благополучной и поэтому въ настоящемъ смыслѣ — слабо-влекущей, мало-прельщающей.<sup>1)</sup> Уровень? Да, такого уровня нигдѣ нѣтъ, и пройти еще сотни лѣтъ, пока мы чего либо подобнаго добьемся, да, вѣроятно, и не добьемся никогда. Но что

---

<sup>1)</sup> Слово «благополучна», можетъ быть, невѣрно понято. Сейчасъ французская литература серьезна и по своему тревожна. Она очень далека отъ Вольтера, не говоря ужъ о Поль де Кокахъ. Въ ней не осталось никакой безпечности: время все мѣняетъ, и теперешніе французы нисколько не похожи на традиціонныхъ французовъ, тѣхъ, «сизъ Бордо». Но природы не измѣнишь; остаются четыре стѣны и потолокъ, «плотно прикрытая крышка». Очень честная литература, безъ блудливыхъ заигрываній съ «мирами иными», — но скучающая и сухая. По существу — со своими трагедіями. Но для человека, который умираетъ на вѣтру и подъ открытымъ небомъ, другой человекъ, мучающійся «bien au chaud», подъ шелковымъ одѣяломъ, съ сидѣлками, съ докторами, съ ежеминутнымъ выслушиваніемъ пульса, для него и это — благополучіе. Два исключенія: Паскаль, Бодлеръ.

---

съ «уровнемъ» дѣлать въ литературѣ, и на что онъ нуженъ! Нужно, чтобы всѣ инженеры умѣли болѣе или менѣе хорошо строить мосты, чтобы всѣ столяры умѣли болѣе или менѣе хорошо дѣлать столы и стулья, но чтобы всѣ писатели умѣли болѣе или менѣе удачно писать романы, а поэты стихи, даже совсѣмъ удачно, восхитительно удачно, — это совершенно никому не нужно. Не хочу съ легкомысленнымъ или обиженнымъ высокомеріемъ отворачиваться отъ французовъ, не спорю, что учиться у нихъ намъ полезно, что противопоставить имъ сейчасъ мы почти ничего не можемъ, — но воображеніе дополняетъ то, чего въ русской литературѣ сейчасъ нѣтъ. «Прорывъ» русской литературы глубже, въ воздухѣ меньше пыли, а все остальное, что тутъ спорить, слабѣе и бѣднѣе. Но, испробовавъ этого воздуха, другого уже не захочешь. Какъ мы долго обольщались, годами, десятилѣтіями, насчетъ Европы. «Дорогія тамъ лежать могилы». И дѣйствительно, дорогія. Отъ нестерпимой тупости славянофильства насъ въ Европу и къ западу несло почти что «на крыльяхъ восторга». И вотъ—донесло. И послѣ всѣхъ нашихъ скитаній, безъ обольщеній и слезливости, со свободной памятью, какъ только можно спокойно и разсудочно говоришь: намъ сладокъ дымъ отечества. Все сѣро, скудно и, Боже мой, какъ захолустно. Но вполне разсудочно, отвѣтственно, съ сознаниемъ послѣдствій и выводовъ, хочется повторить: сладокъ дымъ отечества, Россіи.

Конечно, этотъ важнѣйшій и существеннѣйшій нашъ вопросъ, за литературой, политикой, исторіей, есть вопросъ «метафизическій», т. е. разрѣшимый неизбѣжно вслѣпую, съ возможностью цѣликомъ ошибиться и цѣликомъ прогадать. «Какъ вѣруешь?» и чего ждешь отъ жизни, — предварительно долженъ былъ бы спросить себя человекъ, и только тогда про себя рѣшать. Но хорошо, что уже выметенъ и безвозвратно разметенъ по вѣтру старыи, залежавшійся ссоръ: о царѣ-батюшкѣ, о благолѣпнисконнаго быта, о народѣ-богоносцѣ, съ совѣтами или безъ совѣтовъ. Если устраиваться, да покрѣпче и поустойчивѣе, то ужъ лучше по европейски, трезво, съ расчетомъ, разумомъ и зрячестью, безъ слащавой блажи и декоративной трухи. Тутъ западничество остается непоколебленнымъ. Но устраиваться ли? Петръ и министры со Сперанскимъ не сомнѣвались, и дѣлали дѣло. Однако, русское «умозрѣніе» сомнѣвалось сплошь, и, соб-

---

ственно, только этимъ непостижимымъ уму сомнѣніемъ и потрясло міръ. Устраиваться ли? Двѣ тысячи лѣтъ тому назадъ этимъ же сомнѣніемъ потрясло міръ Евангеліе, — и расшатало бы до основанія, если бы сомнѣніе во время не улеглось и міръ не оправился. Слово, въ которое все въ этомъ сомнѣніи упирается, страшно произнести, и не надо, потому что оно беззащитно отъ логическихъ, «позитивныхъ» нападокъ, — если только становится цѣлью. А оно во всякомъ антизападничествѣ есть таинственная и послѣдняя цѣль. Не вернуться ли? Куда? — спросить европеецъ. — О, не въ Азію, а много, много дальше... Отъ одного этого сомнѣнія леденяще-эфирными струйками пронизана русская литература, а, кажется, именно въ немъ ея «духъ, судьба, ничтожество и очарованіе».

... И возникаютъ въ ней видѣнья  
Первоначальныхъ, чистыхъ дней.

Тема «возвращенія» есть скрытая тема всей русской литературы, одинаково значительная отъ Пушкина, у котораго она пробивается сквозь все еще фарфорово-восковое въ немъ (время, едва ли натура), сквозь все навязанное ему и наносное, по существу ненавистное, сквозь барабанное: «люблю тебя, Петра творенье!» — и до Блока, у котораго она какъ основной фонъ, присутствуетъ всегда. Это вообще самая лирическая тема человѣчества, съ самыми глубокими откликами на нее. Нѣмцы (Вагнеръ, и у него особенно, предсмертное возвращеніе памяти Зигфриду) еще питаются ею, но она словно вода, изсыкаетъ на сухой, какъ будто песчаной почвѣ Франціи. Ее во Франціи только «литературно обрабатываютъ». Но это уже не то. Между тѣмъ, вся поэзія только на нее отвѣчаетъ: въ поэзиі есть жажда возсоединиться, опять слиться, вѣчно пребыть въ полнотѣ, — и въ «розовыя зори», въ «холодѣющія небеса» человѣкъ смотритъ, какъ въ окно «туда». Это, прежде всего, тема вѣрности. Она лежитъ въ глубинѣ легенды о блудномъ сынѣ, такъ неотразимо поразившей всѣ русскія сознанія, — и вѣдь для нашей литературы человѣческая жизнь гораздо менѣе была «строительствомъ», чѣмъ именно «блудной» прогулкой, которой рано или поздно пора положить конецъ, отъ которой неодолимо тянетъ домой. Толстой именно какъ блудный сынъ надѣвалъ лапти и брался за плугъ.

---

Какъ бы это сказать? Бывало въ разказахъ — въ какомъ-нибудь «Вѣстникѣ Европы». Вечеръ. Станція, гдѣ-нибудь въ средней Россіи, поѣздъ только что прошелъ. Холодъ, май и черемуха. Станціонная барышня еще гуляетъ взадъ и впередъ, вполнѣ традиціонная: шестнадцать лѣтъ, косы, мечты. Пожалуй, еще и «березки», непремѣнно «чахлыя», за палисадникомъ, непремѣнно пыльнымъ. Ждать больше нечего.

Это, разумѣется, должно быть въ восьмидесятые, лучше, въ девяностые годы, въ «безвременье». Знакомо такъ, что бесполезно и вглядываться, а кому не знакомо, тотъ дѣйствительно «не пойметъ и не замѣтитъ». Здѣсь почти всѣ уже пелены прорваны; почти что ничѣмъ жизнь уже не держится; это русская глушь, истаивающая, переходящая въ елисейскія тѣни; всѣ бѣлое и черное, какъ въ монастырѣ. (Сюда же: позднее, безнадежное народничество, музыка Чайковского, «идеалы»...).

Потомъ, — худо ли, хорошо, — все опять пришло въ норму. Но безъ слѣда такія припадки слабости не проходятъ, и безъ причины не случаются. Да и «норма» наша не высокая.

Русская литература мало занималась человѣкомъ, «собственно человѣкомъ», у нея нѣтъ навыка и пристальности во взглядѣ, и теперь, когда первый ея, «прометеевскій», героическій періодъ закончился, и единственное, что ей остается, это быть съ человѣкомъ съ глазу на глазъ, безъ тяжбы съ Богомъ, она внезапно и ослабѣла. Она долго спорила съ Богомъ, вѣрнѣе, не спорила, а зывала, молила, требовала, негодовала, отрекалась, возвращала входные билеты, — и все было гласомъ въ пустынѣ. Она устала и выдохлась, потому что нельзя все время вести монологъ. Слишкомъ долго Богъ не отвѣчалъ. И она уже стала забывать, съ чего начала, что спрашивала, и Леонидъ Андреевъ, послѣдній спорщикъ, просто на просто громыхалъ и ухалъ, совершенно невпопадъ, скорѣе изъ молодецки-спортивныхъ побуждений, чѣмъ по внутренней необходимости. Другіе (не всѣ, — но почти всѣ) скатились внизъ, какъ на салазкахъ. Они принялись описывать и рассказывать, — какъ человѣкъ пьетъ чай, какъ бѣжитъ собачка по саду, какъ «Николай Феоктистовичъ, запахнувъ байковый халатъ, вышелъ на крыльцо, и, взглянувъ на копошившихся у корыта поросятъ, съ наслажденіемъ причмокнулъ губами:

— Фу-ты, ну-ты...».

---

Или какъ комбригъ Ивановъ послужилъ революціи, — все равно. Въ свое оправданіе они утверждаютъ, что иначе нельзя: внутреннее черезъ внѣшнее (мимоходомъ: по смыслу надо бы «внутреннее-де», иначе не совѣмъ точно; но лучше исказить смыслъ, чѣмъ написать «де»). Хорошо если «черезъ». Но большей частью ничего не сквозитъ, и Николай Феоктистовичъ чмокаетъ себѣ на здоровье губами, на чемъ дѣло и кончается. Сквозить можетъ въ одной, долго сверленной, упорно буравленной точкѣ: внезапно вспыхиваетъ свѣтъ. Но когда на десятиметровой толщѣ быта литература растекается по поверхности тонкимъ маслянымъ слоемъ, локутинской лакированной картинкой, — ничего не сквозитъ. Второй, послѣ-героическій періодъ русской литературы требуетъ меньше пафоса, чѣмъ было прежде, но не меньшаго вслушиванія, не меньшаго всматриванія: разрядилось звучаніе, и душа человѣка не вся собрана въ одномъ взлетѣ, но по существу только она одна есть предметъ, тема и смыслъ (не психологія, конечно, «für sich», а то, что прикрывается иногда во внутреннемъ опытѣ; какъ домъ съ телефономъ или TSF, даже еще молчащимъ, живѣе другого дома, — въ возможности, — такъ и литература, если въ ней можетъ послышаться нежданный, невидимый отзвукъ).

Есть творчество — внутри. Оно совершенно не требуетъ вымысла, хотя и надъ нимъ можно «слезами облиться». Оно ищетъ раскрытія того, что дано, и этимъ довольствуется. Другому, во внѣ вымысль нуженъ. Но Толстой на старости лѣтъ сказалъ (въ воспоминаніяхъ Микуличъ):

— Какъ я могу написать, что по правой сторонѣ Невскаго шла дама въ бархатной шубѣ, если никакой дамы не было. . .

Точка. Заповѣдь: больше нечего добавить. Нравственный законъ художника. Не было дамы, значить, не надо о ней и писать, — и чортъ съ ними, со всѣми возвышающими обманами и навѣваніями сновъ золотыхъ. Это не значить, что надо писать «художественныя біографіи», гдѣ пріятнымъ стилемъ сообщается только то, что было. . . Все требуетъ компромисса, если хочеть жить. И если вы непременно желаете быть романистомъ, про даму писать вамъ придется. Но значительность творчества измѣряется тѣмъ, насколько вы ею тяготитесь, и насколько все то, что вы о ней рассказываете, управляется не прихотью фантазій, а движеніемъ внутреннихъ образовъ.

---

А. говорилъ мнѣ:

— «Какіе должны быть стихи? Чтобы какъ аэропланъ, тянулись, тянулись по землѣ, и вдругъ взлетали... не высоко, со всей тяжестью груза. Чтобы все было понятно, и только въ щели смысла врывался пронизывающій вѣтерокъ. Чтобы каждое слово значило то, что значить, а всё вмѣстѣ слегка двоились. Чтобы входило, какъ игла, тончайшая, и не видно было раны. Чтобы нечего было сказать, чтобы некуда было уйти, чтобы «ахъ!», чтобы «зачѣмъ ты меня оставилъ»... и вообще, чтобы человѣкъ какъ будто пилъ горькій, ледяной и черный напитокъ, «послѣдній ключъ», отъ котораго онъ уже не оторвется. Грусть міра поручена стихамъ. Не будьте же измѣнниками».

Въ дополненіе: любопытно, что теперъ поэты все больше клонятся къ тому, чтобы превратиться въ ангеловъ, — за счетъ человѣческаго. Имъ душень воздухъ земли, и поднять весь человѣческій грузъ имъ, очевидно, не по силамъ. Они и сбрасываютъ его, послѣ чего безъ труда достигаютъ «чистѣйшихъ сферъ». Но по старинному, глубокомысленному преданію человѣкъ больше ангела. «Гете былъ пошлякъ», обмолвился въ запальчивости и раздраженіи одинъ изъ ангелическихъ русскихъ писателей, — вѣрно, по ощущенію, но съ ужасающимъ кощунствомъ, въ порядкѣ истинной іерархіи цѣнностей.

«Конецъ литературы». Книги, конечно, не перестанутъ никогда выходить. Ихъ всегда будутъ читать, будутъ разбирать, «критиковать». Но литература можетъ кончиться въ сознаніи отдѣльнаго человѣка. Дѣло въ томъ, что по самой природѣ своей литература есть вещь предварительная, вещь, которую можно исчерпать. И стоитъ только писателю «возжаждать вещей послѣднихъ», какъ литература (своя, личная) начнетъ разрываться, таять, испепеляться, истончаться, и превратится въ ничто. Еще: ее можетъ убить иронія. Но вѣрнѣе всего, убьетъ ее ощущеніе никчемности. Будто снимаешь листикъ за листикомъ: это не важно и то не важно (или нелѣпо, — въ случаѣ ироніи), это — пустяки, и то — всего лишь мишура, листикъ за листикомъ, безжалостно, въ предчувствіи самаго вѣрнаго, самаго нужнаго, а его нѣтъ. Одни только листья, будто кочанъ капусты. Стоитъ только пожелать п р о с т о т ы, — простота разѣсть душу, сѣрной кислотой, капля за каплей. Простота есть понятіе от-

---

рищательное, глубоко-мефистофелевское и по мефистофельски неотразимое. Какъ не хотѣтъ простоты и какъ достичь ее, не уничтожившись въ тотъ же моментъ! Все не просто. Простота же есть ноль, небытіе. «Я — воображаемый, — еще могу написать то, что всѣ вы пишете, но уже я не хочу этого писать. И пусть не говорятъ мнѣ о безсиліи: отказываюсь умышленно, намѣренно; сознательно выбираю молчаніе».

Есть еще объясненіе, болѣе наглядное. Литература принуждена выбирать случайную тему и случайные образы, живого человѣка изъ миллионѡвъ, не схему, а личность. Если же я случайнаго (т. е. игры) избѣгаю, то литература гибнетъ. Представьте себѣ окружность съ радіусами. Литература — на концахъ радіусовъ, гдѣ поле обширное и необозримое, гдѣ тысячи случаевъ, темъ, настроеній, тоновъ, ритмовъ, сюжетовъ. Удача выбора, оправданность его во всей этой сложности и есть свойство таланта, и чѣмъ безграничнѣе матеріаль выбора, т. е. чѣмъ дальше скольженіе по радіусамъ — тѣмъ больше радости въ творчествѣ, свободы въ игрѣ. Но бываетъ желаніе въ душѣ человѣка: спуститься къ центру («Не хочу пустяковъ — хочу единственно-нужнаго»). И мало по малу поле суживается, радіусы стягиваются, выборъ уменьшается, все удаленное отъ центра кажется въ переносномъ смыслѣ поверхностнымъ, все одно за другимъ отбрасывается. Человѣкъ ищетъ «настоящихъ словъ», простоты и правды, ненавидя всякія обольщенія и отказываясь неумолимо-логическими въ своей послѣдовательности отказами. Наконецъ, онъ у центра. Но центръ есть точка, т. е. отрицаніе пространства, и въ немъ можно только задохнуться, умолкнуть. Настоящихъ словъ въ языкѣ нѣтъ, а передумывать поздно, да и невозможно.

Въ Пушкинѣ и Толстомъ многое становится понятнымъ такъ. Пушкинскій «конецъ» яснѣе, и отчетливѣе замкнуть онъ въ области литературы. Пушкинъ изсякалъ въ тридцатыхъ годахъ, и не только Бенкендорфъ съ Натальей Николаевной тутъ повинны. Пушкина точилъ червь простоты. Не талантъ его ослабѣлъ, — нѣтъ. Но, повидимому, не хотѣлось ему того, чѣмъ этотъ талантъ удовлетворялся раньше, мутило отъ нѣги и звуковъ сладкихъ, претилъ блескъ. Что было бы дальше, если бы Пушкинъ жилъ, — кто знаетъ? — но пути его не видно, пути его нѣтъ (въ противоположность Лермонтову). «Полтава» еще струится, играетъ, «блистаетъ всѣми красками». Но въ «Мѣдномъ всадникѣ» нѣтъ уже внутренней увѣренности. Рука опытнѣе, чѣмъ когда бы то ни было, но умъ и душа со-

---

мнѣваются, и все чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть отдаетъ будущимъ Брюсовымъ. А въ послѣднихъ стихахъ нѣтъ даже и попытки что-либо отъ себя и другихъ скрыть. Оставалась проза. Но кто съ такимъ даромъ уже соскользнулъ съ одной ступеньки на другую, докатился бы и до конца: это — къ великой чести Пушкина, какъ и всѣхъ, кому хоть вдалекѣ мерещится «непоправимо-бѣлая страница», послѣ которой еще можно жить, но уже нельзя писать.

*продолженіе слѣдуетъ*